

Любовь Сидорова: Необходимы предельная деликатность и осторожность в выводах

Lyubov Sidorova (Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences, Moscow): It is mandatory to be extremely delicate and cautious in one's conclusions

DOI: 10.31857/S086956870005918-0

Тема, за раскрытие которой В.В. Тихонов взялся в своей монографии, имеет огромное значение для понимания закономерностей и особенностей развития отечественной историографии и сообщества советских историков. Более того, её осмысление выводит за пределы собственно исторической науки. Она содержит эвристический потенциал для размышления о советской жизни в целом, так как в её основе — проблема социума и власти, их взаимоотношений и взаимовосприятия. Появление нового исследования, посвящённого этим сюжетам, можно только приветствовать.

Над проблемой «советская историческая наука и власть» российские историки работают уже более трёх десятилетий, накопив значительный исследовательский опыт и введя в оборот большой объём различных по своему характеру источников. Сегодня можно с уверенностью сказать, что появление в конце 1980-х гг. триады «историческая наука (история) — политика — идеология» явилось основным идейным обретением тех лет. Стремление отделить науку от политики и идеологии, «очистить» её, освободить исследования от фигур умолчания и Эзопова языка быстро получило распространение и поддержку в ведущих научных центрах страны. Прошёл ряд представительных международных конференций, в работе которых приняли участие ведущие отечественные и многие авторитетные зарубежные учёные.

Красной нитью в обсуждениях и последующих публикациях проходила идея критического пересмотра советской историографии с позиций выявления её зависимости от политики партии²⁰. На первых порах главенствовала тенденция использовать в качестве исследовательского метода «чистый» марксизм, освобождённый от напластований сталинских и брежневских времён. Однако она оказалась кратковременной: развернулась критика марксизма как такового, начался поиск иных методологических оснований изучения истории. Закономерно в этой связи издание сборника статей «Советская историография»²¹, в которой провозглашалось, что вся советская историческая наука лишена научного содержания и является не более чем политико-идеологическим феноменом.

Нигилистический настрой значительной части историков соответствовал тому этапу в жизни России. В контексте всё более укоренявшейся концепции тоталитаризма наука советского периода воспринималась как жертва идеологии и монолит из застывших догм. Она *a priori* противопоставлялась власти, понимаемой как соединение партийного и государственного начал. Но постепенно такая трактовка начала отторгаться, проявился новый подход, предполагавший учёт сложных и неоднозначных отношений науки и власти, рассмотрение сообщества историков в разнообразии его поколений, школ, групп, личностей.

²⁰ См., например: Россия в XX веке. Судьбы исторической науки. М., 1996; и мн. др.

²¹ Советская историография. Сборник статей / Под ред. Ю.Н. Афанасьева. М., 1996.

Автор тоже заявил об отказе от тоталитарной модели (с. 43). Однако в его монографии обнаруживают себя оба вышеназванных подхода. С одной стороны, историческая наука периода позднего сталинизма по-прежнему выступает пострадавшей стороной: «С определёнными оговорками феномен идеологических кампаний и их влияние на историческую науку можно рассматривать как столкновение двух неравных в своём могуществе сил: партийной и академической среды, их специфических культур» (с. 374). Наука предстаёт Троей середины XX в., партийные идеологи — хитрыми греками, а позиция самих историков — троянским конём: «Готовность историков быть частью сложившейся системы приводила к тому, что властные инстанции стремились проникнуть и легко проникали в научное сообщество» (с. 76). С другой стороны, справедливо отмечено, что «неверно было бы рассматривать эти события исключительно как вторжение партийных идеологов в жизнь учёных», поскольку «советская историческая наука оказывалась элементом партийной культуры того времени» (с. 374).

Характеризуя сообщество советских историков, Тихонов подчёркивает, что «об изначально цельном в социальном и мировоззренческом смысле сообществе говорить не приходится... далеко не все оказывались винтиками “тоталитарной” машины. Многие могли критически мыслить, во многом не соглашались с властью, хотя и зачастую принимать её в целом» (с. 61). С этим можно было бы согласиться, если бы не одно «но». В «тоталитарной» системе координат с её жёстким водоразделом между властью и народом, при котором первая превращается в бездушный механизм, а второй — в послушное стадо, пропадает множественность оттенков в восприятии историками середины XX в. советской общественно-политической системы. Остаётся за скобками и важнейшее обстоятельство: большинство представителей первого марксистского поколения, как и вступавшие на научную стезю исследователи послевоенного «призыва», не противопоставляли себя власти. Её идеалы они полностью разделяли, а многие из них (например, М.А. Алпатов, И.И. Минц, А.М. Панкратова и др.) за её установление даже боролись с оружием в руках. Равно и власть небезосновательно считала историческое сообщество своей идеологической опорой — делая известные поправки на «старую школу» с её неизбежным «объективистским прихрамыванием». Огромную роль тут играло понятие «партийного долга», безусловное для многих историков-партийцев, и даже для беспартийных. Участие в идеологических кампаниях, организованных ЦК партии, считалось его выполнением.

Вопрос о том, что же превалировало в исторической науке позднего сталинизма, оставлен, как мне кажется, открытым. Справедливо подчёркивая сложность «системы научно-исторического сообщества», Тихонов обращает внимание читателя на «конфликты... между партийными и беспартийными, между людьми, жаждущими власти (И.И. Минц и А.Л. Сидоров), между историками “старой школы” и марксистами, так и не признавшими их за своих. Особую роль в них играли “маленькие люди”, являвшиеся сторонними для корпорации фигурами и добавлявшие остроты в процесс» (с. 269).

Выделенные автором линии напряжённости можно условно обозначить как партийную (историки, состоявшие в ВКП(б) и находившиеся вне её), генерационную («старая» и «красная» профессура, послевоенное поколение историков), профессиональную (исследователи и администраторы, научные школы и институты, и проч.), личностную (между отдельными историками).

Следовало бы добавить и национальную, о которой периодически упоминается, но которая не включена автором в перечень конфликтов. Линии напряжённости Тихонов не ранжирует. Вместе с тем их влияние на атмосферу исторического сообщества неравнозначно и требует особого изучения, причём в каждой из них следует учитывать человеческий фактор.

Автор приходит к выводу, что «противоречия и конфликты внутри научно-исторической корпорации были слишком сильны и требовали выхода. Кампании и стали таким выходом» (с. 269). Возникает вопрос: каким же образом они могли погасить — и погасили ли — внутренние конфликты, и как бы разрешала их сама научная среда без кампаний?

В книге высказывается мысль, что «динамика и острота проработочных кампаний во многом определялась конфликтностью среды историков», которая, в конечном счёте, привела к тому, что «эффект от развернувшихся погромов оказался таким большим» (с. 375). Тихонов приводит слова А.М. Некрича о том, что агрессивность и широта погромов стали неожиданностью для самих организаторов, считая при этом, что «мемуарист сам в это не верит», хотя, по его мнению, «такая ситуация весьма вероятна» (с. 376). Думается, что в данном случае автор прав. В подтверждение проведу одну интересную параллель, но для начала напомним этот фрагмент из мемуаров историка, цитирующийся в монографии: «Сразу же пошли разговоры о перегибах и о том, что очень видный руководящий товарищ, осуждая перегибы, будто бы сказал: “Мы здесь, в Центральном Комитете партии, сказали предостерегающее: Эй!.., а на местах аукнулось: Бей!”» (с. 375—376).

А теперь обратимся к документу, на десятилетие предвосхищающему описываемые события, но современному им по духу. Это протокол очной ставки между Н.И. Бухариным и Л.С. Сосновским — сотрудником газеты «Известия», в ЦК ВКП(б) от 7 декабря 1936 г.:

«Бухарин. Относительно статей Сосновского. Совершенно верно, я говорил относительно того, что Сталин заступался за статьи Сосновского. Как-то на заседании Политбюро тов. Мехлис сделал довольно резкий выпад против Сосновского, а Сталин бросил реплику: “Ты говоришь так потому, что не у тебя Сосновский пишет”. Я увидел в этом проявление добавочного доверия по отношению к Сосновскому и счёл своим долгом поощрить Сосновского. Поэтому, когда публика часто подкапывалась под Сосновского, я за Сосновского заступался.

Сталин. Сервилистические чувства, сервилизм.

Бухарин. Вы не знаете современной газетной жизни. Мы очень часто вставляем соответствующие слова в те или иные статьи, потому что считаем, что для бывших оппозиционеров, каким являюсь, в частности, я, это абсолютно необходимо.

Ежов. Кто тебя, ЦК что ли, заставлял это делать?

Сталин. Для партийца это оскорбительно.

Бухарин. Я припоминаю один такой эпизод. По указанию Климента Ефремовича я написал статью относительно выставки Красной армии. Там говорилось о Ворошилове, Сталине и других. Когда Сталин сказал: “Что ты там пишешь”, кто-то возразил: “Посмел бы он не так написать”. Я объяснил все эти вещи очень просто. Я знаю, что незачем создавать культ Сталина, но для себя я считаю это целесообразной нормой.

Сосновский. А для меня вы считали это необходимым.

Бухарин. По очень простой причине, потому что ты бывший оппозиционер. Ничего плохого я в этом не вижу»²².

Смысловая переключка между этим отрывком и выдержкой из мемуаров Некрича очевидна. Вполне узнаваема черта любой бюрократии — опередить, предвосхитить руководящее указание. Здесь хотелось бы заострить внимание на очень важных деталях, характерных не только для центральной партийной прессы и стиля общения сталинского времени, но и для советской исторической науки того периода. В описании Бухариным его позиции по отношению к Сосновскому можно уловить черты «феномена патронажа», о котором пишет Тихонов (с. 78—90). Также Бухарин прямо назвал причину, которая побуждала его славить Сталина — собственное оппозиционное прошлое.

Эта ситуация помогает лучше понять мотивы участия в идеологических кампаниях некоторых историков «старой школы» и представителей первого поколения историков-марксистов. В этом отношении примечателен пример Л.В. Черепнина — ученика блестящей плеяды «старых» профессоров: С.В. Бахрушина, А.И. Яковлева, С.Б. Веселовского, Д.М. Петрушевского. Начало его научной карьеры оказалось прервано Академическим делом: в ноябре 1930 г. Лев Владимирович был арестован, затем осуждён и сослан в лагеря. Это не только нанесло существенный урон здоровью историка — возвращение к научной деятельности не изгладило из его памяти пережитого. Когда защищённая им в 1947 г. докторская диссертация «Русские феодальные архивы XIV—XV вв.», по праву считающаяся ныне одной из лучших его работ, год спустя попала под огонь критики за отсутствие в ней отповеди буржуазной историографии, перед Черепниным вновь возник призрак прошлой трагедии.

Опасение вновь оказаться в положении репрессированного вынудило его участвовать в кампаниях не только в качестве объекта критики, признав все свои «ошибки», но и как её субъекта. Демонстрируя приверженность марксизму, он выступил в печати с критикой взглядов А.С. Лаппо-Данилевского и А.Е. Преснякова как буржуазных объективистов²³. В последние годы жизни, по свидетельству учеников, Лев Владимирович не раз сожалел и о тональности, и о самом факте написания этих статей.

Справедливость требует отметить, что Черепнин использовал, как мне кажется, печальный опыт Академического дела, когда в ходе следствия большинство историков старались любыми способами не ухудшить положения своих здравствующих коллег, намного легче соглашаясь, например, с обвинениями в адрес недавно умершего М.М. Богословского, не имевшего детей. Полагаю, что и сам Лев Владимирович понимал, что главный урон от такой критики будет нанесён ему самому, а не авторитету ушедших учёных. В отношении же действующих коллег, принимая участие в их критике, Черепнин старался одновременно отыскать аргументы для её смягчения и нейтрализации. Так, 14 октября 1948 г. на заседании сектора феодализма Института истории АН СССР, где в свете новых идеологических веяний обсуждался учебник по истории СССР

²² См.: Декабрьский пленум ЦК ВКП(б) 1936 года. Документы и материалы / Сост. В.Н. Колодежный, Л.Н. Доброхотов. М., 2017. С. 283—284.

²³ См.: *Черепнин Л.В.* А.С. Лаппо-Данилевский — буржуазный историк и источниковед // Вопросы истории. 1949. № 8; *Черепнин Л.В.* Об исторических взглядах А.Е. Преснякова // Исторические записки. Т. 33. М., 1950.

для неисторических вузов под редакцией М.Н. Тихомирова, он упрекнул автора в отсутствии должных ссылок на классиков марксизма-ленинизма: «Мне кажется, что, говоря о феодализме, нужно было дать теоретическое определение феодальной формации, дать соответствующий раздел из работы т. Сталина о диалектическом и историческом материализме и указания т. Ленина. У Вас это совершенно отсутствует». Но предложил рассматривать данный факт не как проявление научной позиции, а как простое упущение: «Между тем в Ваших же собственных работах Вы прекрасно это показали. Тем более досадно видеть отсутствие этого в учебнике»²⁴.

Монография Тихонова полна имён и характеристик. Это внимание к деятельности отдельных учёных, безусловно, сильная сторона исследования, помогающая очеловечить картину научного сообщества. Однако оно же требует от автора предельной деликатности и осторожности в выводах, так как здесь он вступает на зыбкую почву предположений, допущений, реконструкции, «кривых зеркал» и проч. В основе повествования, казалось бы, объективный текст стенограмм. Однако для аутентичного его прочтения требуются знания о подводных течениях в жизни сообщества и строгая доказательность в интерпретации. Привлечение эго-документов, описывающих хитросплетения научной жизни, зачастую осложняет этот процесс, эмоционально воздействуя на исследователя и невольно привлекая его на одну из сторон.

Сложность создания образов покажу на примере А.М. Панкратовой — одной из знаковых фигур первого марксистского поколения в советской исторической науке. На страницах монографии она упоминается очень часто — и, учитывая её роль, это справедливо. Однако остановлюсь на отрывке из раздела «Историческая наука 1920—1940-х гг. в контексте советской семиосферы». На примере Панкратовой автор решил показать, как в исторической науке отражалась идеологическая символика тела: «В здоровом теле — здоровый дух, причём пролетарский. В этом смысле утончённый, интеллектуальный идеал начала XX в. явно не вписывался в новую, советскую вселенную» (с. 55). Далее кратко намечены вехи её деятельности, перечисление которых заключено описанием внешнего облика этой женщины, якобы оказавшего немалое влияние на её карьеру: «Убеждённый солдат партии, она вступила в неё ещё в юности. Несмотря на принципиальность, сочетавшуюся с чуткостью к людям, она, как говорится, “колебалась вместе с партией”. Несмотря на довольно скромные научные достижения, в 1939 г. она становится членом-корреспондентом АН СССР, в 1953 г. — академиком, и даже членом ЦК КПСС. Конечно же, сыграла роль и партийность, и тема её исследований (рабочий класс), и школьные учебники, и многое другое. Но сыграл и внешний вид. На фотографиях перед нами коренастая фигура и простое лицо рабочей или колхозницы, но никак не работника интеллектуального труда. Она прекрасно вписывалась в семиокод советского общества. Её не стыдно было выпустить на трибуну съезда как раз в промежутке между партийными бонзами и простой дояркой» (с. 55).

Оставлю в стороне вопрос о том, допустимо ли так, в нескольких словах, свысока и схематично оценивать непростой и зачастую полный драматизма жизненный путь историка. Приведу несколько фактов и свидетельств из жизни Панкратовой. Например, эпизод, о котором сама Анна Михайловна по понятным причинам практически не упоминала. Оказалось, что большевистской

²⁴ Научный архив Института российской истории РАН, д. 375, л. 149.

странице её биографии предшествовала левоэсеровская. В конце 1920-х гг. она ещё могла написать, что «с марта 1917 г. по 1918 г. примыкала к одесской группе левых с[оциалистов]-р[еволюционеров], хотя (по условиям работы в деревне) в организации не состояла»²⁵. Однако в ходе подготовки посмертного академического собрания её трудов одна из соратниц по одесскому подполью Е.Ф. Зубицкая рассказала, что перед вступлением в РКП(б) «Нюра Панкратова вышла из состава “левых” эсеровской партии»²⁶ — и эта информация в издание не вошла. Борьба с троцкизмом обернулась для неё и личной трагедией — крушением семьи, расстрелом мужа Г.Я. Яковина, от которого она должна была публично отказаться, балансированием на грани ареста в 1936 г. Дачный дом в посёлке научных работников, писателей и старых большевиков-сибиряков в подмосковном Кратово Анна Михайловна делила с Л.С. Сосновским²⁷, о котором речь шла выше и который повторил судьбу её мужа — с той лишь разницей, что в 1934 г. отрёкся от оппозиции и был на короткое время возвращён в Москву и восстановлен в партии.

Фраза о «довольно скромных научных достижениях» сразу же отсылает к дневникам С.С. Дмитриева, а именно к записи от 21 февраля 1957 г., после торжественного заседания в Институте истории, посвящённого 60-летию Анны Михайловны: «Конечно, прежде всего она общественно-просветительский деятель, её достижения как учёного-историка куда более скромны. Тем не менее есть и они» — сборники «История пролетариата СССР» и «Рабочее движение в России в XIX веке», которые «долго будут полезны»²⁸. К ним следует добавить и работы 1920-х гг., написанные на материалах фабрично-заводских архивов и посвящённые истории профсоюзного движения²⁹.

И несколько слов о внешнем облике. На официальном фото, которое публикуется чаще других, — усталая строгая женщина в формальном тёмном костюме и светлой блузке, с прямым жёстким ртом и умными глазами. Есть и другая Панкратова — в кадрах фильма, приуроченного к её 60-летию. На них — живая, подвижная, невысокая худенькая женщина. В памяти А. Бессоновой, работавшей с ней в Высшей школе профдвижения, осталась «тонкая стремительная фигура»³⁰ Анны Михайловны, спешившей выполнить как можно больше дел. Всё это лишний раз говорит о том, как трудно судить о человеке по отдельным фото (хотя, естественно, каждая эпоха и среда накладывают на него свой отпечаток).

Попутно замечу, что использование штампов и бытовых представлений при характеристике профессионального сообщества историков заметно влияет на уровень выводов и оценок, содержащихся в монографии. Например, рассказывая об «интеллигентах новой формации» (этот эпитет заимствован у Е.В. Гутновой, хотя отмечено отсутствие «его развёрнутой характеристики»), Тихонов наполнил его своим содержанием. К таковому он отнёс «особый типаж студентов и учёных, который возникает в конце 30-х и оформляется в послево-

²⁵ Историк и время. 20—50-е годы XX века: А.М. Панкратова. М., 2000. С. 191.

²⁶ Архив РАН, ф. 697, оп. 2, д. 186, л. 15.

²⁷ Историк и время... С. 160.

²⁸ Там же. С. 175.

²⁹ Панкратова А.М. Фабзавкомы России в борьбе за социалистическую фабрику. М., 1923; Панкратова А.М. Политическая борьба в российском профдвижении 1917—1918 гг. Л., 1927; Панкратова А.М. Фабзавкомы и профсоюзы в революции 1917 г. М.; Л., 1927; и др.

³⁰ Историк и время... С. 164.

енное время». Это было связано, по мнению автора, с восстановлением исторического образования и его престижа: «Хлынула волна студентов, для которых образование часто было не целью, а средством достижения материальных благ, социальным лифтом и драйвером в карьере».

Давая такую нелицеприятную характеристику, автор подчеркнул, что «новый социальный тип отличался как от дореволюционной интеллигенции, так и от поколения Октябрьской революции». Идеализм первых двух — «служение науке» «старой» интеллигенции и бескорыстное «служение строительству нового общества» первых историков-марксистов — он противопоставил практицизму «интеллигентов новой формации». Среди присущих последним черт — недостаточный уровень образования, «догматизм и активность в поиске идеологических ошибок других», «нацеленность на карьеру». И далее: «Их социальной средой было крестьянство и городской пролетариат. Правильное происхождение позволяло легко пройти через сито отбора в университеты и аспирантуру, где зачастую происходило соревнование не ума и таланта, а анкетных данных. Многие были из провинции, а провинциалы, как известно, народ цепкий». Имеет свои недостатки и предложенная Тихоновым группировка историков первой половины XX в. Так, часть учёных из числа «красной профессуры», которых не затронули репрессии конца 1930-х гг. (в монографии сказано, что «уцелели те, кто лучше лавировал и приспособлялся» (с. 72)), фактически оказались причислены к «интеллигенции новой формации». Представляется, что суждения такого рода должны быть строго доказательными и подкрепляться достоверной источниковой базой.

В целом исследование получилось живым и интересным. Рассмотрены многие важные, но до сих пор в значительной степени скрытые стороны жизни исторического сообщества середины XX в. Автор старался передать её хитросплетения, в которых присутствовали наука, идеология, амбиции, индивидуальности и многое другое, что в совокупности и образует живую ткань повседневности и отражается на исследовательской деятельности. Не со всеми суждениями и выводами можно согласиться (хотя сама возможность их полемического восприятия очень ценна), но предложенное решение поставленных проблем заслуживает внимания.

Михаил Базанов: Принципиально новая концептуальная картина

Mikhail Bazanov (United State Archive of Chelyabinsk Region): Fundamentally new conceptual picture

DOI: 10.31857/S086956870005919-1

Список исследований, посвящённых кампании по борьбе с космополитизмом в исторической науке, в настоящий момент насчитывает уже десятки (если не свыше сотни) наименований. Этой темы неизбежно касались те, писал об этой кампании в целом³¹ или отдельных её эпизодах³², о состоянии историче-

³¹ См., например: Сонин А.С. Борьба с космополитизмом в советской науке.

³² См., например: Корзун В.П., Колеватов Д.М. «Русская историография» Н.Л. Рубинштейна в социокультурном контексте эпохи // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 20. М., 2007. С. 24—62; Шаханов А.Н. Борьба с «объективизмом» и «космополитизмом» в со-